ЛБ91
804

804

БИБЛИОТЕКА ЮНОГО ПИОНЕРА

А. АЛТАЕВ

СЕМЕНОВСКИЙ БУНТ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

БИБЛИОТЕКА ЮНОГО ПИОНЕРА

ЛБ91 804

Ал. АЛТАЕВ

СЕМЕНОВСКИЙ БУНТ

ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ 1820 ГОДА

С ПРЕДИСЛОВИЕМ
С. А. ШТРАЙХА

382/4

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД

3-я ТИПО-ЛИТОГРАФИЯ
«ТРАНСПЕЧАТИ»
Москва, Дмитровский, 9
ГЛАВЛИТ № 55185.
ТИРАЖ 10000 экз.

Государств. публичная
историческая
библиотека РСФСР
1231678

ПРЕДИСЛОВИЕ

В повести Ал. Алтаева „Семеновский бунт“ рассказывается об одном из самых крупных случаев революционного движения начала XIX века в России, которое привело к восстанию декабристов в 1825 г. Брожение это находится в непосредственной связи с революционным движением в Западной Европе, с которым русская армия близко познакомилась в эпоху Наполеоновских войн.

Освободительные войны России с Наполеоном (1805—1814 годы) имели огромное значение не только для распространения революционных идей среди офицеров—представителей обеспеченных классов русского общества, но и для распространения сознательности и чувства собственного достоинства среди солдат—представителей многомиллионной забитой народной массы. Пребывание во Франции, где еще живы были свободолюбивые идеи Великой Революции 1789 года,—раскрыло русским воинам глаза на их тяжелое положение в России; приветливые встречи, устроенные нашим войскам в Германии жителями освобожденных от чужеземного ига немецких провинций, еще резче оттеняли варварское обращение с нашими солдатами на родине; непривычно-человеческое обращение начальников, вынужденных сдерживать во время заграничных походов свою природную грубость, особенно ярко выявило перед солдатами несправедливость гого рабского состояния, в которое они вернулись, перейдя обратно западную границу России.

Понятно, что все это шевелило мысли солдат, вызывало в них критическое отношение к порядкам отечественного управления и возбуждало стремление к улучшению своего положения.

Но особенно значительным было влияние передового офицерства на развитие в солдатах чувства собственного достоинства. Просветительная деятельность либеральных офицеров, их человечное отношение к подчиненным, уроки грамоты укрепляли в солдатах начала сознательности и были лучшим средством пропаганды для развития свободолюбивых стремлений в солдатской массе.

Солдаты ценили эти заботы офицеров, любили их и скоро усваивали идеи свободы, равенства и братства, пропагандированные этими лучшими представителями тогдашнего передового общества.

Такие передовые офицеры были тогда во всей русской армии, но больше всего их было в гвардейских полках, из которых особенно выделялся Семеновский полк.

Случайно в этом полку собрались все самые революционно-настроенные офицеры, которые впоследствии приняли ближайшее участие в заговоре и восстании декабристов. Здесь были братья М. И. и С. И. Муравьевы-Апостолы, Н. Д. Якушкин, М. П. Бестужев-Рюмин, Ф. П. Шаховской и многие другие. Они первые отменили в своих ротах телесные наказания солдат и отсюда это движение распространилось на другие полки.

Младшему брату царя, великому князю Михаилу Павловичу, начальнику бригады, в которую входил Семеновский полк, были не по вкусу заведенные в Семеновском полку порядки, и он старался искоренить там крамолу. Но дружба и единодушие между офицерами и солдатами в Семеновском полку были настолько прочны, что начальству это долго не удавалось.

Тогда Михаил Павлович подошел к делу иначе. Он стал убеждать царя, что вольный образ мыслей семеновцев выражается также в пренебрежении их к фронтовой науке. Для исправления этого недостатка, великий князь предложил заменить любимого в полку командира, мягкого и доброго генерала Потемкина, полковником Шварцем, которого ему рекомендовал Аракчеев, как чудесного фронтовика.

Шварц стал подтягивать Семеновский полк всеми теми приемами, о которых рассказывается в повести Ал. Алтаева.

Это привело к восстанию, которое было подавлено с чрезвычайной жестокостью.

Резолюцией царя было приказано: часть солдат семеновцев прогнать сквозь строй через батальон и отослать на работу в рудники; остальных разослать в армию—в Сибирь и на Кавказ,—причем они должны присутствовать, при наказании товарищей, наказаний, представлявшем худший вид смертной казни.

При этом Александр поручил установить такой порядок наказания мятежных семеновцев, чтобы возможно больше ухудшить их положение.

По удостоверению очень преданного царизму генерала М. И. Богдановича,—„судьба нижних чинов, переведенных в армию, была горестна. Там смотрели на них как на людей, совершивших самое важное преступление, и столь уважаемое прежде имя семеновцев для некоторых из новых их командиров сделалось однозначущим с именем мятежников. Малейшие их проступки были непростительны в глазах начальников, усердных не по разуму, либо думавших преувеличенною взыскательностью угодить государю".

По приказу царя было предписано не давать отставки солдатам, выслужившим свои сроки, не представлять их к производству в унтер-офицеры, а последних за выслугу лет—в офицеры. В июле 1821 года предписано было не давать женам солдат паспортов на жительство в Петербурге и Москве. Еще раньше велено было детей бывших семеновцев, отданных в кантонисты, никуда на службу не назначать, иметь за ними особенный присмотр, о каждом их проступке доносить инспекторскому департаменту. И дочерей семеновских солдат, учившихся в девичьей полковой школе, взяли под надзор. Никого в покое не оставили. Даже больных солдат, находившихся в момент восстания на излечении, пересылали, по приказу государя, из одного госпиталя в другой.

Семеновская история не прошла бесследно и долго еще имела революционизирующее влияние в русской армии. Особенно же воспользовались ею декабристы, подготовляя восстание 1825 года. Для успеха их пропаганды имело большое значение то, что в различных полках русской армии, где проходила революционная деятельность декабристов,—было много солдат бывшего Семеновского полка.

В связи с декабрьскими событиями 1825 года снова пошли гулять шпицрутены и плети по спинам бывших семеновцев: целыми сотнями засекались солдаты на смерть по приказу Николая I, получая от 300 до 12.000 ударов... И позже, когда сами декабристы страдали в Сибири за свое увлечение ролью преобразователей государственного строя, в Петербурге вспоминали про семеновцев только для того, чтобы их казнить и истязать. Д. Т. Завалишин передает в своих записках, что комендант Нерчинских рудников, С. Р. Лепарский, приказал расстрелять 15 солдат, среди которых были семеновцы, по совершенно невыясненному делу—не вполне даже доказанному намерению их бежать. И Лепарский, мучимый совестью, во время болезни, в бреду повторял по поводу этой казни: „право, это не я, это он, все он".

Он—это Николай Павлович, который, при содействии верхнего слоя дворянства, исподличавшегося и превратившегося в царских рабов генералитета, упрощенным способом расправился с протестующим офицерством и с мятежными солдатами, память которых мы чтим, как память первых наших революционеров.

С. Штрайх

Посвящается старой военной организации большевиков.

I

В манеже Семеновских казарм учебная команда. Обучали инструктора — унтер-офицеры—вступивших в полк рекрутов.

Моросил дождь, и в тусклом свете осеннего утра у рекрут был самый жалкий вид в их мундирах со скатанными и надетыми через плечо шинелями.

Испуганные глаза ловили взгляды инструкторов, державших в руках палки, концы которых измочалились от побоев.

У некоторых рекрутов красные полосы тянулись через всю щеку или по шее.

— Приложился, значит, сподобило, — говорили солдаты.

— Шагом... арш!.. Ать-два!.. Ать-два!..

— Носком вперед, сволочи!.. Ать-два!.. Ать-два!..

Поручик Толстой стоял поодаль и смотрел на ученье.

У унтера глаза были на выкате, злые Он крикнул:

— Флигельман [1]), равняйся по ранжиру!

Унтер заметил, что один из солдат замедлил отвести руку от ружья, делая „на караул".

— Рраз!.. Михеев!.. Сволочь!.. Вот тебе!..

Палка поднялась и опустилась на плечо правого флангового.

— Не сметь, мерзавец!..

Рука унтера упала, и он вытянулся перед поручиком.

Толстой подошел вплотную; голос его сделался очень высоким от волнения; между бровями легла складка гнева.

---

[1]) Так называли в то время фланговых взвода.

— Стыдно, что унтер-офицер умеет учить солдат только при помощи палки.

Унтер опешил.

— Убрать палки! За них сядешь под арест, болван!

Офицер круто повернулся и ушел. Унтер стал неторопливо убирать палки, ворча:

— Ужо погоди, за такую шагистику командир не погладит... Поручики что: им бы только книжки читать, да час-другой с вами, обормотами, поболтаться, а я с вами и день и ночь, с одного котла лопаю... Погоди, что командир скажет...

В то время некоторые из передовых офицеров пользовались солдатскими школами грамотности, чтобы вести среди солдат пропаганду. Это было своего рода „ хождение в войско“ [1]). Путем бесед и прописей учителя хотели поднять у забитых нижних чинов сознание человеческого достоинства.

---

[1]) Подобно „хождению в народ“ революционеров 70-х годов.

У учителей были особые тетрадки прописей, которые они подбирали сами. И вместо обычных в солдатских школах грамотности фраз — „долг солдата—повиноваться начальству“, „умри за веру, царя и отечество“,—преподаватели-офицеры диктовали:

— Долг человека — научиться уважать себя.

— Брут, убивший тирана Цезаря, был величайший гражданин.

— Сыны порабощенной Греции победят угнетателей.

— Слава борцу за свободу испанского народа Риэго.

Волна Французской революции прокатилась по Европе; то тут, то там вспыхивали восстания. В январе 1820 г. порабощенная австрийцами Испания была охвачена восстанием, а через несколько месяцев, в июле, началось революционное движение в угнетенной Италии — в Неаполе, и, едва оно было подавлено, вспыхнула революция в той же Италии — в Пьемонте.

Весь юг Европы был охвачен революционным движением. В порабощенной Греции подготовлялось восстание, вспыхнувшее в том же 1820 году.

У всех на устах было два имени итальянских героев: Ри-эго и его товарища Квироги.

И все шопотом говорили, что „доброго“ царя Александра I испугали революционные вспышки Европы,—недаром он издал указ о рекрутском наборе, когда набирали по четыре человека с пятисот душ. Царь предполагал их использовать для подавления в Италии беспорядков, грозивших, как ему казалось, перекинуться в Россию.

II

У полковника Шварца, жившего в казармах, завтракала холостая компания.

Порядочно подвыпили, но пробки все еще продолжали хлопать и денщик тащил снова корзины с бургундским, шампанским и коньяком. Гости больше

напирали на модный в то время гольдвассер и старались „перепить“ друг друга.

— Шесть рюмок выпил. Ей-богу.

— Э, капитан, одну прибавили.

— Наливай еще. Ишь искрится как, родненькая...

И смотрели на свет рюмки, где в крепкой водке искрились и плавали золотые звездочки.

Осовелые, красные лица, расстегнутые мундиры, дым пенковых трубок и длинных „стамбулок“ — чубуков, хохот и окрики денщиков, — это все высшая аристократия.

Граф Ламздорф рассказывает тучному военному генерал-губернатору, графу Милорадовичу:

— Щегольство очень похвально, только в меру. Меня и самого старший брат учил, чтобы я всегда помнил хорошую выправку — и во время похода, и во время путешествия, и в квартире ступал всегда с отменной грацией, легко, носками вниз, расправляя колени. Но бывает щегольство излишнее. Так у нас

один подпоручик изрядно высидел на гауптвахте за то, что я его встретил в расстегнутом мундире, при белом жилете и зеленых перчатках, что не полагается по форме.

— Ха, ха, ха, следовало проучить, следовало поучить.

Какой-то гусар, захлебываясь, рассказывал:

— Это что, стрелки! Им скажи: „тобс“ [1]), а они ни с места... Вот я стреляю, честное слово... Ежели кто поставит рюмку водки на голову, я сшибу ее из пистолета... вдребезги. Хочешь, Люце?

Но полковник Люце не хотел.

— Э, чорт, кабы я твердо стоял на ногах... ты стрельнешь, а я качнусь... ты вот лучше его...

Он указал на денщика.

— Нну, здесь, Люце, неудобно... знаешь... денщик шварцевский... нет, ты лучше приходи ко мне... У меня

---

[1]) Готовься к стрельбе,—условное выражение среди военных.

денщик такой дурак... Вчера у меня был кутеж... и я вымазал ему морду икрой, и он... какой-то арап... черный... ха, ха, ха...

Они хохотали до того, что у них попадали из рук высокие пенковые трубки. Денщик бросился их подымать и раздувать огонь.

— Сегодня вечером приходи, Люце, мы поставим идиоту рюмку на голову и я выстрелю пять раз подряд, без промаха... На пари... Хочешь пари?

В это время Шварц грузно поднялся, вспомнив, что он приказал, как делал это ежедневно, привести к себе в залу десять солдат — для экзамена по военной муштровке.

В полуоткрытую дверь виднелась шеренга солдат. Шварца встретили заученными казенными словами:

— Здрав... жел... ваш... высокбл...

Гусар с саперным полковником Люце следили за муштровкой из дверей.

— Д-да... тут есть чему поучиться, — пробормотал, тяжело ворочая языком, гусар. — Командир Семеновского

полка, полковник Шварц, отменный фронтовик.

И опять десять голосов в единый звук:

— Рад... стар... ваш... высокбл...

Солдаты босы, Шварц—говорил, что босая нога виднее на ученьи.

— Во фронт! Глаза направо! Эй, сволочь толстопузая, подбери брюхо. Глаза твои где? Глазами ешь начальство... Забыл, что ли?

Голос Шварца звучит жестко, холодно, слова—точно пощечины хлещут, и лицо холодное, жестокое, а глаза, как сталь...

— Нога, где нога, чортова кукла? Как твоя фамилия, черномазый дьявол?

— Михеев, ваш высокородь...

— А, так про тебя говорил мне унтер Белячков, поручик заступился... тело, вишь, белое, нежное, беречь от палок надо... Нну, стервец, посмотрим... Ноги, ноги...

И Шварц бьет линейкой по голым коленям Михеева, изо всей силы по пяткам... Михеев молчит, только внутри

у него все дрожит мелкой дрожью. В голосе командира свирепая угроза:

— Как стоишь, болван? Какая выправка? При стойке сжимай задние щеки, да ноги — не сметь поднимать ноги... Что, больно, сволочь? Нежны стали,—от линейки дрожите; как пойдете под свинец да под штык?

Он уже обращался к соседу Михеева, у которого на ноге во всю длину голени был шрам. Этот солдат чувствовал невыносимую боль, когда линейка обожгла ему ногу.

— Что ежишься? Почему шрам?

— Рана, ваш высокродь...

— Где был ранен?

— Под Кульмом, ваш высокродь...

— А я вот тебя по кульмовским ранам, чтобы ты был выносливее...

Вино и злоба бушуют в Шварце все сильнее. Стальные глаза наливаются кровью.

— Фамилия?

— Поликарпов, ваше высокбродь...

— Отчего дрожит голос, болван?

Он обжигает линейкой раненую ногу Поликарпова.

— В лубки посажу, как вчера!

Вчера он связал в лубки ноги десятерым солдатам и потом заставлял их проделывать разные артикулы.

Багровое лицо Шварца обернулось к Люце.

— Хорош строй? Хороша выправка?

— Отменно хороши.

— А я недоволен. Еще дышут. Стоят на месте и дыханье приметно; видно, как дышут. У меня, чтоб не дышать! Эту сволочь я научу, как единое движение глаз моих понимать, а не рассуждать... Палок испугались, — у меня попробуют лучше... Михеев, каждый день две недели ко мне будешь ходить на выправку. Чего побледнел, сукин сын? И ты, кульмовский герой, тоже? Эй, вы, помойте друг другу лицо слюнями: плюйте, плюйте, я говорю, дружно: рраз-два! Рраз-два... Н-ну! Запорю!

В такт, по счету, плюют друг другу в лицо, и по солдатским лицам медленно сползают на мундир плевки...

Столпившиеся на пороге гости смеются.

Историческая библиотека

III

Было воскресенье, 11 октября, день свободный от ученья.

Поутру, как всегда, солдаты напились квасу с хлебом, сходили к обедне и разбрелись кто куда. Остались в казармах только немногие.

Михеев лежал на койке и уныло смотрел в окно на мутную желтую стену казенных построек. За дверью где-то недалеко пиликала гармошка; заливчатый голос выводил с псковским „цоканьем“:

— У нас на дворе погода —
То дождь, то снег.
На синем море погодушка;
Есть у девушки зазнобушка;
Зазнобил ее детинушка,
Детинушка — сиротинушка,
Сиротинушка, солдатский сын.
Зазнобивши сердце девушки,
Во поход пошел, в дальню сторону.

Вошел унтер Белячков, пропустивший после обедни чарку водки и благодушно настроенный.

— Что, Михеюшка, не весел? Пошто голову повесил? Что гулять не идешь? Молодой парень, а лежит, что баба-роженица...

Он подсел с краю, на кровать.

— Ты, дурак, обиждаешься, что я тебя бью. А я почему бью, садовая твоя голова? Нет, ты скажи. Меня били и я бью,— на то она и выучка солдатская.

— Да ежели я...

— А ты знай себе помалкивай. Без науки, братец, не быть добрым солдатом... Ты, скажем, к примеру, уже неделю отходил к командиру на экзаменты; у тебя, знаю, и лытки, и спина, что под цепом на гумне были... Тебе обидно... Ты на меня обиждаешься... Про поручика думаешь—заступился бы. Поручику что? Он тебе прописи читает, хорошие слова говорит,—пошел, сказал, его и след простыл. А я всегда с вами, аспидами, чуть что не так,—перед командиром я первый ответчик. Не тебе шпицрутены,—мне. Так-то.

Михеев молчал. А унтер продолжал:

— Был я, как и ты, дуб-дубьем, когда мне лоб забрили. Крикнул это раз командир:—к ноге,—и начал смотр. И час смотрит, и два. Устал я с непривычки на вытяжке стоять, да чорт попутал, вздохнул в задней шеренге. Повернулся командир:—это кто еще там охает? Выходи. Ну, знамо, вышел я. Стою. А он это тихим голосом таково-то ласково:—устал, братец? Ну, я и рад:—виноват, ваше превосходительство, это точно, устал.—Отчего же ты устал? А я, твой полковой командир, да и все господа офицеры не устали. Ты—в полной форме, и мы в полной форме. Позабыл, вишь, полковой про тяжелое ружье и ранец, чего у господ офицеров не было... Говорит:—ведь и наше дело не легкое. Ты вот за себя одного отвечаешь, а мы за вас за всех перед царем да перед отечеством отвечаем. Знаешь ли ты долг свой?—Виноват, говорю, ваше превосходительство...—Я знаю, что виноват, но в чем виноват? Вот я тебе сейчас растолкую. Эй, Си-

доров, поучи. И фельдфебель поучил... шпицрутенами...[1]) Прогнали сквозь строй.

— Как не убег-то...— сквозь зубы буркнул Михеев.

Унтер махнул рукою.

— Убег,—повторил он уныло и, верно, вспомнил две шеренги солдат и гнущиеся палки, и себя, обнаженного по пояс и привязанного за руки к двум ружейным прикладам. Впереди—два солдата. Они смотрят, чтобы приговоренный двигался медленно. И вот через несколько минут спина его покрывается широкими кровавыми рубцами.

— Да, было дело,—унесли без памяти. После пролежал немало в госпитале.

Унтер засмеялся.

— Зато теперь спроси-ка меня:— унтер Белячков, сколько существует на свете ружейных приемов? Спросонья отвечу: сорок восемь. Знаю и шагистику, знаю как надо весело смотреть на

---

[1]) Немецкое название палок.

начальство. Недаром я выучки самого Желтухина.

Он гордо произнес имя зверя-командира, способным учеником которого оказался Шварц.

— Убег...—задумчиво повторил он.— Я те убегу шпицрутенами...

И вдруг Белячков сорвался:

— Ты чего насупился, обормот? Как глядишь в глаза начальству?

Робкий голос промямлил:

— Виноват...

— То-то—виноват... Ну уж, ладно, дуй тя горой... Я пошутил... Хе, хе, хе... Нас учили в палочной академии, а мы станем учить в шпицрутенской... так-то..

Унтер ушел; опять резко запиликала гармошка. Михеев уставился застывшим, унылым взглядом на желтую стену в окно и стал думать о солдатской лямке.

Двадцать пять лет выбивания из человека в солдатской шинели души.

За окном плац, где по будням происходит учение.

— Ружье на пле-чо! — командует фельдфебель.

Солдат держит ружье на плече не наклонно, как теперь, а отвесно и прямо, так что штык и ствол торчат вверх. Ружья того времени были очень тяжелы.

Поднимая левую ногу при тихом шаге на пол-аршина от земли, солдат неизменно кривился направо, чтобы не упасть; когда же левая нога вновь опускалась на землю, солдат невольно прислонялся к ружью и выгибал левый бок.

— Выпрямляй крендель, мерзавец! — кричал фельдфебель.

А потом шагистика.

Еще в 1803 году Александр I издал приказ, чтобы по всей армии при марше тихим шагом делали в минуту 75 шагов,—в аршин шаг, а скорым—той же меры—120 шагов „и отнюдь от оной меры ни в коем случае не отходить".

И когда солдаты маршировали, музыкант держал в руках хронометр (часы особенной точности) и по нем считал шаги.

Волосяные султаны были прикреплены к верхней наличной части кивера. Мундир

с жестким высоким воротником, скатанная шинель через плечо и ранец, — и в таком виде солдат должен был следить, чтобы при маршировке, во время ружейных приемов, султан не шевельнулся.

— Треклятая жисть, лучше сдохнуть,— прошептал злобно Михеев.

IV

Кто-то вошел в казарму. Кто-то подошел к его кровати.

— Васька, земляк... Да Михеев, чорт, аль оглох?

Михеев повернулся.

— А... некрут... Емелька Пегашев!...

— Чего больно невесело встречаешь? А я, было, пошел барина нашего, Толстого Миколая Миколаевича, проведать. Ну, и к тебе от него прямо. Вестей из дома не получал?

— Нешто получишь? В солдатчину бросили, что в могилу. О родных забыть надобно. Да и не до родных, когда толь-

ко и заботы, чтобы командиру на глаза не попасться...

Голубые, детски простодушные глаза Емельяна затуманились.

— И то, земляк... я в некрутах недавно, а уж всего хлебнул...

— И у вас, в Московском полку, поди, звери есть лютые?

— Попадаются. Служба тоже чижолая.

— Наказан был?

— Как не быть? Спервоначала руку нескоро с ружьем отвел, как делал на караул... да и маршировка... нешто все скоро упомнить? У нас, сказывают, еще ничего, а в других ротах солдат распинали,—по 100 ударов давали палками, а после в рубцы втирали соль пригоршнями. Люди стали мереть.

— Ну-у. Как мереть?

Пегашев оглянулся.

— Флигельман у нас храбрости испытанной, поведения доброго, в походах бывалый, из полка убег. Пымали. Через три дня опять убег. Все говорил: „Убью человека, так лищат меня солдатского

звания. Невтерпеж солдатчина. Пущай лучше сошлют в Сибирь". Один-то у нас такой, сказывали, зарезал прохожую. И денег-то у нее не было, так нищенькая бабочка, убогонькая. А флигельман никого не зарезал. Пошел к Неве да с моста и кинулся. Вытащили уже мертвого.

Они помолчали.

Емельян шопотом сказал, оглядываясь со страхом:

— Говорили хорошие люди, быдто жизнь наша станет легче. Сулили нам разные легкости.

— По морде сапогом, а по спине шпицрутенами,—буркнул Михеев, — вот те и легкости!

— Подожди...—прошептал Пегашев, и стал рыться за пазухой, потом осторожно, дрожащими руками, вытащил сверток замусленной бумаги и протянул Михееву.

— Что это?

— Листки.

— Какие листки?

— С десяток их у нас в полку подкинуто; по рукам ходят... Спаси бог, начальство узнает... А читаем, все читаем; солдатам любо.

Это были две прокламации, подброшенные в Преображенских казармах, откуда они стали распространяться по другим полкам.

Михеев развернул бумагу, торопливо, дрожащими руками, и стал шопотом читать:

„Хлебопашцы угнетены податьми; многие дворяне своих крестьян гоняют на барщину шесть дней в неделю. Скажите, можно ли таких крестьян исключить из числа каторжных? Дети сих несчастных отцов остаются без науки, но оная всякому безотменно нужна; семейство терпит великие недостатки, а вы, будучи в такой великой силе, смотрите хладнокровно...“

Дальше говорилось о том, как улучшить солдатское положение. Надо арестовать всех теперешних начальников и выбрать новых „из своего брата—солдата“.

„Спешите следовать сему плану, и я вам явлюсь по зачатии сих действий. Любитель отечества и сострадатель несчастных. Единоземец“.

Михеев прочел, и лицо его сделалось смертельно бледным, а руки, передававшие Пегашеву листки обратно, ходили ходуном.

— Кто их читал?

Голос был отрывистый; глаза горели; лицо подвинулось совсем близко к лицу Пегашева.

— Все читали. Другие,—что молитву, заучили. Да вот и я...

„Дети сих несчастных отцов остаются без науки“...

И, вдруг, точно что-то вспомнив, спросил:

— А насчет Гишпании что слыхал? Народ в Гишпании взбунтовался... У вас в прописях офицеры писали...

Михеев злобно сплюнул.

— Тьфу, чорт. Гишпания, Гишпания. Да, ведь, у нас не Гишпания, а Россия-матушка. Что о Гишпании толковать...

Пегашев смущенно замолчал, потом поднялся.

— Итти мне, пожалуй, пора.

— Ну что-ж, погоди... А коли бы у нас как в Гишпании?

Пегашев смотрел и не понимал. Шутит что ли Васька, аль взаправду? Глаза его, черные и большие, блестели, точно два жука из-под густых, шершавых бровей.

Пегашев почесал в затылке.

— Народ у нас какой... кволый... чуть что, сейчас хвалиться начальству...

— М-да...

Михеев вдруг придвинулся к Пегашеву и обжег его шопотом:

— Коли бы всех начальников, как здесь сказано... а пуще всех нашего... морду ему расквасить, сукиному сыну... А после...

— Тс. Кто-то идет.

— Давай сюда листки.

Пегашев протянул листки, и они скрылись на груди Михеева.

К вечеру Михеев знал их наизусть. И к вечеру несколько товарищей его,

что больше других страдали от „репетиток“ и „экзаментов“, знали тоже листки наизусть, и они из-за пазухи Михеева путешествовали по другим ротам.

И ночью Михеев бредил и вскакивал с койки, крича:

— Тебя самого голыми ногами, анафема! Всем взводом... всею ротою... в шпицрутены!

На другой день солдаты шушукались по углам, и Михеева видели то в одной собравшейся группе, то в другой. К его словам прислушивались.

V

Труба горниста проиграла зорю. Раздалась команда фельдфебеля:

— По взводам стройся! Равнение направо! Смирно!

Прошла перекличка.

— Налево кругом, марш! Расходись спать!

Но солдаты первой гренадерской роты не двигались с места.

Эта первая рота состояла из отборнейших старых заслуженных солдат, совершивших немало походов. У каждого были рубцы от тяжелых ран.

Рота считалась образцовой; ее ставили в пример другим семеновцам; гренадеров знал сам Александр.

Сальные свечи в фонарях еще не были потушены. Они тускло освещали голые стены казарм; на стене колебались гигантские тени солдатских голов.

Стояла жуткая тишина.

Вдруг неожиданно раздались голоса.

— На перекличку!

— Стройся!

— Шагом, марш!

Фельдфебель забегал по рядам:

— В постели!

Никто не шевельнулся.

— Братцы, — сразу сбавил он тон, почувствовав что-то неладное, и не докончил. От неподвижных рядов отделился один из солдат и сказал:

— Так что попроси, сделай милость, пожаловать ротного.

Ротным командиром был капитан Кашкаров.

— Да что вы, братцы, удумали,—на ночь глядя и ротного? — пробовал убеждать их фельдфебель.

Загудели голоса:

— Чего там! Завтраками нас не накормишь!

— Знамо, капитана сюда подавай!

— Э, вошь тя заешь, нешто не слыхал, что рота требует?

— Не посылайте фельдфебеля, не надо! Пущай не ходит! Свово брата пошлем. Иванов, ступай!

— Унтера Борщева!

— Валяй, Борщев, сделай милость!

Фельдфебель не уходил.

— Да я что-ж, братцы... я, пожалуй, схожу...

Тогда к нему подошел самый старый солдат с седыми нависшими бровями. Это был рассудительный, точный в службе, заслуженный гренадер, с большим широким шрамом от сабельного удара через всю щеку.

Когда-то он на своих плечах, тяжело раненый, вынес командира с поля битвы. Он перенес все самые тяжелые походы на француза, и его ставили в пример всем солдатам.

— Уж ты не ходи... Пущай идет унтер... Вся, ведь, рота просит. Экое дело вышло, вишь ты. Не пойдет унтер, я пойду, тебя ослушаюсь, а пойду, — пущай по-настоящему, по артикулу-то, мы и должны через своего фельдфебеля действовать.

Вышел вперед седой унтер. Он тоже колебался.

— Чего стоишь, — гневно окликнул его левый флигельман, — коли рота приказывает!

Старик замахал руками на унтера:

— Иди, иди, разлюбезное дело тебе итти! Ну, с богом!

И когда унтер ушел, рота загоготала.

— Он, чорт, думает, что мы все терпеть будем!

— Поди, нам не сладко; брюхо-то подвело.

— Шагистика да шагистика, вздохнуть некогда...

— Э, братцы, — закричал высокий фланговой, размахивая руками, — мы гренадеры, нам и начинать. Какого дьявола терпеть Шварца?

Черномазый, более молодой гренадер Быхальцев крикнул:

— Во второй роте племяш, Васька Михеев, сказывал, как этот самый отец-командир Шварц заставил снимать сапоги и маршировать по ожинкам...

— Его бы самого, стерву, босыми ногами по гвоздям!

Кто-то засмеялся:

— Ну, вы, братцы, полегче: нешто командира стервой величают?

— А нешто мы собаки, что заслужили такого командира? За отечество мы кровь проливали, на хранцуза ходили, а ныне мордой сапоги дьяволу обтираем.

— Помним мы еще его „репетитки“; на них и нас не помиловал, — даром что гренадеры.

Быхальцев совсем разошелся:

— Доведись мне, ребята, да я его, сукина сына, да мордой об пол, а опосля...

— Тс, черти... Ротный...

Спешным шагом входил капитан Кашкаров, делая усилия, чтобы казаться спокойным.

— Смирно!..

Это был один из тех офицеров, которые мечтают о производстве по службе, и за этою мечтою не видят того, что творится вокруг. Солдаты его не любили.

— Что за шум? Пусть кто-нибудь выйдет вперед и скажет чего хочет рота. Смирно! Не все сразу.

Вышел все тот же убеленный сединами старик.

— Здравия желаем вашему высокоблагородию.

— Говори.

— Так что наша рота не имеет больше возможности служить под начальством полковника Шварца. Оттого и решились побеспокоить ваше высокобродь. Просим принять нашу жалобу, не притеснял бы нас командир. Не отец он

нам, а как есть враг. От него нет никакой силы возможности. Просим ваше высокобродь довести до сведения начальства.

Кашкаров растерялся.

— Ладно, — сказал он, стараясь успокоить солдат и оттянуть дело, — только погодите. К чему ночью подняли тревогу? Придет утро, разберемся.

— Никак нет, ваше высокобродь, потому невозможно терпеть. Весь полк просит через нас. Наша рота—выборная.

Семеновцы выбрали своих гренадеров; они были уверены, что начальство пощадит ветеранов, покрытых ранами, с орденами за долгие походы. Все они были седы; всех ставили в пример другим ротам.

— Так что никак невозможно ждать, — повторил старый солдат. — На последнем смотру корпусный командир [1]) нам сказал, что ему известно, как некоторые солдаты недовольны полковым командиром, а ежели кто осмелится жаловаться

---

[1]) Ил. Вас. Васильчиков.

на смотру на полкового командира, тому помереть под палками.

— Не некоторые солдаты, а все мы жалуемся, — гудели гренадеры.

— Весь полк выбрал нас в жалобщики.

— Мы от всего полка!

— Ну, что же,—пожал плечами Кашкаров, — видно, придется мне передать вашу просьбу. А теперь — по постелям! Налево кругом — марш!

Рота медленно, неохотно расходилась.

Кашкаров сейчас же отправился к батальонному командиру — полковнику Вадковскому.

Полковник разгневался на приход Кашкарова в такой неурочный час, разгневался еще больше от рассказа Кашкарова.

— Чего же вы хотите? — спросил он раздраженно.

— Я пришел доложить вам, что я ничего не могу сделать с солдатами. И прошу принять во внимание, что это лучшая рота в полку.

— Хорошо, я переговорю со Шварцем.

В эту ночь Вадковский имел свидание со Шварцем. Зверь-командир вспылил:

— Что? Мною недовольны? Я делаю вам выговор за потачку солдатам и буду жаловаться великому князю. Хороши солдаты, но хороши и офицеры. Вместо того, чтобы подтянуть солдат, они им играют в руку. Я не хочу больше об этом говорить. Довольно!

Эта ночь была очень тревожной. Не спали солдаты-семеновцы; не спали и офицеры.

Одни из офицеров радовались, что их „труды“ — пропаганда среди солдат — не пропали даром; другие испугались слова „бунт“ и дрожали за свою участь. Время было суровое, а большинство из офицеров, охотно говоривших солдатам о всяких „свободах“, в глубине души лелеяли мечту о высоких чинах и густых генеральских эполетах.

Только один Сергей Муравьев-Апостол, написавший листки, которые хо-

дили по рукам солдат, радовался и говорил товарищам:

— Молодцы... зашевелились... Но что будет дальше? Что дальше...

Он взвешивал, не рано ли началось брожение среди солдат и не будет ли бунт преждевременным, если семеновцев не поддержат другие полки.

На следующий день было продолжение истории. Шварц поехал к бригадному командиру — великому князю Михаилу Павловичу [1]). Это был жестокий солдат, под стать Шварцу; его интересовала только военная выправка.

Ему давно уже был не по душе „вольный дух“ семеновцев, и он косился на семеновских офицеров за их „поблажки“ солдатам, старался найти в полку какие-нибудь неисправности и, чтобы накрыть семеновцев врасплох, часто наезжал ночью на караулы.

Корпусный командир князь Васильчиков был болен и послал вместо себя расследовать дело начальника корпусно-

---

[1]) Младший брат Александра I.

го штаба, который явился в Семеновские казармы произвести следствие над ротою, „виновною в своеволии и ослушании“.

VI

Утром у офицеров пропали денщики, и сапоги их оказались не вычищенными. И, чтобы не попасть под замечание начальства, офицеры неумело взялись за ваксу и щетку сами.

Денщики жались по уголкам вместе с другими солдатами: собирались в коридоре, в умывальной, в уборной, во дворе, за поленницами дров и шопотом или вполголоса горячо о чем-то толковали.

В первой роте у всех на языке было имя дяди-черномазого, гренадера Быхальцева, во второй—племянника, Васьки Михеева. О Ваське сам дядя с восторгом рассказывал:

— Эк, стервец, загибает про Шварца... как есть распатронил. Говорит: „убить его, всем скопом убить“. Говорит: „я первый голову проломлю“. А после как

начнет чистить, всех угодников уноси, инда жарко станет. И отколь слова так складно нижет?

Офицеры чувствовали, что они лишние. Были любимые, руководили солдатами, а дошло до дела—и остались в стороне: все солдаты рассудили про себя сами, не спросили, когда начать бунт и как начать, и даже о своих намерениях не сказали.

О событиях офицерам рассказывали только от времени до времени денщики:

— И такое дело, вашбродь, такое дело... Созвали фельдфебелей со всех рот к начальству, держали их два часа на ногах; великий князь как закричит: „наблюдать, чтобы в других командах того же не случилось“. А гренадеры наши, что столбы: молчат, быдто не им говорят. „Упорные бестии“,—закричал великий князь и уехал. Ох, быть грозе,—сказывают, уехал он разгневавшись...

Казармы Семеновского полка походили на потревоженный муравейник. Скакали курьеры, подкатывали к казармам коляски. И вдруг вся площадь

наполнилась солдатами Павловского полка. Офицеры разбрелись по ротам и ждали распоряжений. В казармы к семеновцам вытребовали целый дивизион.

Вечером первая рота семеновцев шагала безоружная к дворцовому манежу. На лицах было выражение суровой неизбежности.

— Раз-два, раз-два...—мерно выстукивали солдатские шаги по мокрой мостовой.

Шагистика была такая же, как всегда...

В манеже тускло горели фонари, отбрасывая на стены зловещие тени. Рота выстроилась в глубоком молчании.

Ворота с обеих сторон отворились, и в манеж хлынуло два взвода павловцев с ружьями на перевес. Они взвели курки... Васильчиков выступил вперед и крикнул:

— Если кто тронется с места, павловцы будут стрелять!

И снова прозвучал спокойный густой голос Быхальцева:

— Не боялись мы стоять под неприятельскими выстрелами и теперь готовы итти куда нам прикажут, только скажем, как говорили и ночью: не хватает у нас никакого терпленья служить под командой полковника Шварца. Лучше помереть, чем выносить такое тиранство.

— Молчать! — закричал Васильчиков.—Бунтовать? Делайте, что приказано! Под арест!

В это время курьеры из Семеновских казарм летели в казармы Финляндского полка с приказом, чтобы офицеры собирались на набережной.

На набережной финляндцы спрашивали друг друга:

— Что такое? Зачем вытребовали?

— Да знаешь, в Семеновском полку бунт.

— Кого-нибудь расстреляли?

— Весь полк арестован. Мы должны сопровождать его до Петропавловской крепости.

— Кто знает, как взбунтовались семеновцы?

— Правда, что Сергей Муравьев уже в каземате?

— Взбунтовалась первая рота.

— Ерунда! Гренадеры-то? Любимцы государя?

— Кто из офицеров был зачинщиком?

— Говорят, солдаты сами...

— Стройся!

— Шагом марш!

Финляндцы по команде двинулись вдоль Гороховой улицы, повернули на Малую Морскую. Впереди был конец длинного, вытянувшегося, как стрела, Невского проспекта. Там уже виднелась колонна конногвардейцев с обнаженными палашами. Они вели первую роту семеновцев в крепость. Финляндцы оказались лишними и возвратились в свои казармы.

VII

Восстание Семеновского полка было раскатом грома, в котором правительство усмотрело „гидру революции“. Тотчас же появился приказ сосредоточить все

боевые патроны на руках каптенармусов или в ротном цейхгаузе, за исключением пяти патронов из шестнадцати на каждого солдата.

Но семеновцев „прорвало“, и остановить негодование солдат, доведенных до последнего предела страданий, было невозможно.

Казармы гудели, как пчелиный улей. Слышны были по всему корпусу крики, хлопанье дверей, топот ног.

— Сбирайтесь! Сбирайтесь!

Собирались в коридоре со всех рот.

В углу, слабо освещенном подвешенным фонарем на стене, черномазый Михеев шептался с псковичем, который несколько дней тому назад—в воскресенье—так усердно пиликал на гармошке и подпевал деревенскую песню.

— Слухай, Катаев, дядя в крепость, сказывают, со своею ротой угодил; нам надобно его дело докончить.

— А што-ж,—с псковским цоканьем отозвался пскович.—Мы завсегда...

— Коли что, так и прихлопнуть гада...

— Цаво?

— Я говорю — гада прихлопнуть, Шварца.

Катаев почесал в затылке.

— А не страшно?

— Коли страшно, так прочитай: „да воскреснет бог“, а то зажмурься.

— А за эфто цто будет?

— Апалеты енаральские получишь...

Белесоватые глаза Катаева уставились на Михеева с недоумением.

— Апалеты, говоришь?

— Э, дурень, а ты поверил? По головке, знамо, не погладят. Да, ведь, все едино пропадать: у тебя рубцы от линейки шварцевской зажили?

— Цаво там—зажили...

— А деньги твои где, что за сапоги получил? Ты сколько сапог сшил? Где деньги? Слопал командир. Ты в праздники работаешь, а тебе какая польза? Прежде кашу с маслом ели, а ныне от сала дух идет, да и то по губам мазано, а крупа—одна затхаль, с души прет...

— Верно, вот верно...

— А придет час— забьет командир до смерти...

— Верно, забьет, как есть забьет...

— Надо проучить этих живоглотов— мудровать над нашим братом. Гляди, как обирают солдата: в егерском полку, сказывают, продали провиант на сторону,—на рынке крупа да мука солдатская дешево по рукам пошла, а солдатам, вместо хлеба, гниль дали; обваришь этта кипятком кусок, а оттоль червь распаренный и вылезет... В Московском полку шинели сроки выслужили, а кто ими попользовался?—Каптенармус. Солдатам и не попахло. У кавалергардов навоз эскадронные огородникам продали, зато женам новые бурнусы пошили. Нешто это дело? Вали Шварца набок, чтобы другим сволочам-командирам было не повадно, слышь?

— Слышу...

— Коли добром не выгорит, коли Шварца не уберут, он нас измочалит... Был бы со мною дядя...

Солдаты собирались. Неподалеку заскрипел напев пошлой офицерской песни:

Любил я жизнь веселую:
Попить и погулять,
И всю игру картежную
В „три листика“ сыграть...

Это тянул вполголоса толстовский денщик Кирюшка Поливанов.

Михеев сорвался с места:

— Ты чего, гнида барская, лизня, захребетник? У бар, в офицерских фатерах, ромами налижется, а после распевает. У нас, может, гроб сколочен, а он— на-те—„три листика“ завел.

— Да я што... я ничаво... я с вами, братцы, не с офицерами... что мне офицеры...

— Сбирайтесь! Сбирайтесь!

— Ну, Федь, по рукам насчет командира!

Веснущатая рука протянулась к Михееву, но белесоватые глаза смотрели еще робко.

— Ладно, я, как народ...—прошептал Катаев.

— Собирайтесь! Собирайтесь!

— Мы их, гладких жеребцов-командиров, всех проучим, Федь?

— Проучим...

VIII

На утро, чуть стало светать, все одиннадцать рот вышли на площадь перед лазаретом. Солдаты уже не строились шеренгой; они толпились в беспорядке, не слушая увещаний офицеров, даже тех, которых любили.

И голос Сергея Муравьева-Апостола тонул в море солдатских голосов. Он просил солдат не бунтовать и занять караулы в городе, как следовало: в этот день была очередь стоять на караулах Семеновскому полку. Он говорил, что пример гренадерской роты должен им показать, как не равна борьба. Ведь у них нет даже оружия. Эту безоружную толпу можно смести одним взводом.

Его никто не слушал. Страдания и гнев были сильнее любви и доверия к офицерам, и один из солдат отрезал прямо:

— Эх, вашбродь, отойди... Нешто не видишь: это не твое, не барское дело...

Кругом засмеялись:

— Верно, Михеев, вот уж верно!

У Сергея Муравьева вырвалось:

— Да, ведь, это же не революция... Это только бунт!

Кто-то поднял Михеева над толпой. Задыхаясь и размахивая руками, он кричал:

— Эй, братцы, неужели же выдадим своих? Нешто зря болтали? Аль опять к стервецу-Шварцу за прежнюю лямку? Пожалуй, целый день выделывай артикулы с ружьем под палкой, жри командира-аспида глазами, стой перед сукиным сыном, как перед иконою, ешь его, дьявола треклятущего, глазами, молись на него, а после только одно помни: чисть себе амуницию, чтобы он на твоей чистоте себе аполеты, звезды да чины добыл, а коли заработал ремеслом какую копейку, тоже на чистоту мундиров отдавай. Да плевать нам на эту шварцевскую чистоту. Лучше в брюхо, чем на брюхо.

Эта немудреная речь была для солдат понятнее и значительнее, чем все тонкие и деликатные поучения прописей и бесед офицеров, даже и таких искренних, готовых погибнуть за солдатское дело, как Сергей Муравьев. Слова солдата непосредственно, близко задевали их повседневные интересы.

— Верно, Михеев! Валяй еще! Слушаем!—раздавалось со всех сторон, несмотря на окрики офицеров.

На площади показалось и высшее начальство. Приехал великий князь Михаил Павлович, военный генерал-губернатор Милорадович и генерал Васильчиков.

Глухо и вяло, лишь по привычке, прозвучало:

— Здравия желаем...

Никто им не ответил на эти слова. И тотчас же кто-то крикнул из толпы:

— Мы постоим за стариков. Государь не даст в обиду любимый свой полк.

— Стройся!—крикнул Васильчиков.

Никто не шевельнулся. Толпа молчала. И опять выделился одинокий голос:

— Где нет головы, там ноги не действуют.

— Дерзость! — бледнея, прошептал Милорадович.—Неужели, генерал, вы не можете их подтянуть?

— Ничего не могу,—отвечал Васильчиков. — До чего их довела распущенность офицеров... И где Шварц?

Великий князь, не отличавшийся находчивостью, крикнул солдатам:

— Что побуждает вас так действовать?

Звонкий голос Михеева вызывающе ответил:

— То, что вы променяли нас на немцев!

Он, конечно, подразумевал Шварца.

В предрассветном осеннем тумане трудно было разглядеть в этой серой толпе отдельные лица.

Васильчиков подскочил ближе.

— Кто это сказал? Кто осмелился?— спрашивал он у офицеров.

Никто не знал.

Васильчиков побежал к поручику Толстóму.

— Вот она—ваша гуманность! Вот плоды вашего просвещения! Разврат! Разврат! Извольте сказать, кто это сейчас сказал великому князю дерзость!

— А вы? Вы покрыватель этих мерзавцев!—налетел он на Муравьева.

Толстой отвечал:

— Невозможно разглядеть в эту пору отдельные лица, ваше превосходительство.

— Хорошо, об этом мы поговорим потом.

Великий князь уехал взбешенный.

А потом была комиссия, которая наводила следствие, кто из солдат „дерзко“ отвечал великому князю.

На следствие привели трех солдат.

— Кто отвечал великому князю?— спросил председатель.

— Ваше превосходительство,—отвечал один из допрашиваемых,—я первый вступил в комнату. Вы не могли этого заметить днем, а на площади мы были на рассвете. Разве же возможно, когда,

почитай что, совсем темно, в толпе разглядеть кого-нибудь в лицо, чтобы после узнать его?

После солдат Васильчиков делал „отеческие“ наставления офицерам.

Они все были созваны в квартиру Шварца, и в том самом зале, где еще так недавно командир забавлялся мучением солдат, поставил их в кружок.

Речь была длинная, с напоминанием долга перед царем и отечеством.

Офицеры переглядывались, что будет дальше, к чему он клонит.

— Этот бунт—позор и стыд для всех вас,—крикнул Васильчиков.—Как вы его могли допустить? И кто был потатчиком? И где ваш командир? Если бы я из среды вашей знал бы кого за вольнодумца, за беспокойного человека, за непокорного закону, то, поверьте мне, я не стал бы с ним церемониться. Прощайте, господа. Где, наконец, Шварц?

Глаза его пытливо и пристально вглядывались в лица стоявших на вытяжку офицеров...

IX

В это время Михеев с псковичем Катаевым и Кирюшкой Поливановым, денщиком поручика Толстого, шныряли по всем закоулкам шварцевской квартиры. Они искали командира так же, как его искало и их начальство. Шварц— точно в воду канул.

— Погодь, Федька, нету ли за той корзиной?

— Тащи, тащи... Нетути. Эх-ма, нету ли в корзине?

Открыли корзину. Кирюшка денщик выругался:

— Тьфу, растакая, грязное белье. И от грязного белья духами всякими несет.

— С тухлых щей солдатских так не понесет.

— Гляди в шкаф, Васька. Вот где сапог-то. Сколько хошь. Хучь бы разок пройтись в таких-то перед девками в хороводе с гармошкою.

— У тебя, Кирюшка, все песни на уме. А у нас другое... Убить его, так и конец музыке.

— От него вся и канитель...

— Гляди, под кроватью шевелится... Тащи его, тащи за жабры, подлеца!

— Тьфу! Кошка бесхвостая!

— В трубу ведьмак вылетел, не иначе...

— Вали во двор, ребята,—командовал Михеев,—гляди в окно, там наши, видно, его ищут.

Шварц был на дворе. Он пробрался туда, как только услышал, что солдаты на рассвете собрались на площади.

Эта гудящая толпа, которую он слушал распахнув форточку, казалась ему страшной. В этой толпе он видел свою могилу. Итти к ней? Ни за что... Его разорвут на клочки и будут кричать:

— Любо! Любо!

Он долго сидел перед открытой форточкой в одном белье, не зажигая огня, потом торопливо начал одеваться, прислушиваясь. Он слышал голоса сол-

дат и офицеров, голос великого князя и Васильчикова.

На минуту страх перед начальством погнал его на площадь, но этот же страх остановил: в таком состоянии, с таким страхом в душе, что скажет он им? Почему допустил до бунта? Почему бездействовал? Нельзя объяснить великому князю, что все это время он дрожал за свою шкуру и боялся, что солдаты убьют его...

Что солдаты убьют его,—в этом у него была уверенность. Они поднялись, как один, все одиннадцать рот. И даже денщики, эта безответная сволочь,—думал он,—разбежались. Солдаты, как лавина в горах,—все в один громадный снежный ком... И раздавят... Невозможно итти... невозможно...

Он выбежал во двор. Там было тихо. Но где спрятаться? А, кучи навоза... На днях их должны были вывезти на огороды...

И дрожащий, бледный, кутаясь в шинель, он присел на грязную землю за навозными кучами.

Солдаты его не нашли. Солдаты кричали на площади в лицо Васильчикову:

— Чего мы хотим? Отдайте нам наших стариков или посадите нас вместе с ними.

В ответ их погнали в крепость.

Солдаты шли в полном порядке, побатальонно и так тихо, что обыватели, встречая их на улицах, не подозревали в них наказанных бунтарей, а уличные мальчишки бежали сзади, стараясь попасть в ногу и наигрывая на губах марш.

X

В Петропавловскую крепость за два дня прибыло 917 семеновских солдат.

Крепость не могла вместить такого числа арестованных, и солдат стали вталкивать в тесные клетушки-казематы, рассчитанные на одного, как скот, десятками.

Солдаты валялись на каменном полу, на жалких клочьях соломы, которую им кое-когда бросали. Очень скоро казе-

маты превратились в очаг разных тяжелых болезней...

Семеновцы были все раскассированы по разным полкам армии, офицеры—без права выхода до известного времени в отставку, без права отпусков. Большинство их было отдано под суд; некоторых оправдали.

Был предан суду и Шварц—„за бездействие и укрывательство". Его приговорили к смертной казни, но высшее начальство ограничило наказание... увольнением со службы.

В это время Александр I был за границей, на конгрессе в Лайбахе. Он очень боялся, что иностранные послы узнают о бунте и сообщат о нем за границу. Поэтому русское правительство распорядилось остановить на три дня заграничную почту из Петербурга.

XI

История Семеновского бунта была как будто кончена. Но в каменном мешке крепости билась жизнь.

В тесной камере, на соломе, собрались старые приятели: лежали рядком— черноглазый, весь обросший щетиной, гренадер-семеновец Быхальцев и возле него такой же черномазый племянник. Рядом с этими мохнатыми громадными людьми белобрысый пскович Катаев казался особенно невзрачным. Возле него прикурнул Кирюшка Поливанов, денщик.

Кирюшка, сидя в уголке, показывал простодушному псковичу, как наигрывать мотив, засовывая в рот по-очереди пальцы. Получалось, точно хлопали пробки. Он хвастался:

— Это я у одного гусарского офицера перенял. Как соберутся у нас, захлопают пробки, а он пальцами, пальцами, вот так, все 26 маршей выхлопать умел; сколько в Питере батальонов, столько и маршей.

— Ловко, — сказал Быхальцев, смеясь так, что слезинки заблестели в углах его глаз.—Ловко нажаривает.

— Учись, паря,—поддакнул Михеев.— В каземате от нечего делать и то хлеб

Сказывают, немцы ушами пищать умеют, что крысы.

— Дурак, двигать ушами,—поправил Кирюшка.—Я и то умею.

— А ну, покажь...—вмешался все время молчавший унтер Белячков, попавший сюда за „упущения“, хоть и считал себя безупречным служакой.

Сюда он унес обиду, что его не оценили, и жил душа в душу с солдатами и даже бранил непристойно Шварца. Ведь все равно его смешали со всеми.

Кирюшка чувствовал себя героем. Он показал еще фокус с движением ушей, а потом затянул гнусаво:

Сыграешь на полтинничек
Сведешь на золотой,
Один лишь пятиалтынничек
Оставишь за собой...

В другом углу арестанты-солдаты играли в новую игру: кто кого переплюнет в потолок.

Но унтер Белячков был мрачен. Михееву захотелось развеселить свое прежнее „начальство“. Он звонко крикнул:

— А что, дядя, нам и пришлось отдохнуть. Поди, ты устал, сколько лет в солдатской лямке маявшись. В нашей казематской коробке и клопу с тараканом не развести шагистику. Где нас станешь учить, дядя?

На сумрачном лице унтера появилась улыбка. А Михеев, подбодренный, продолжал:

— Каку-таку шагистику разведешь? Петербургскую, могилевскую аль варшавскую? [1]) Ну, старички, зачинаем. Равнение направо, шагом марш!

И, протянув ногу, он уперся в стену при общем хохоте:

— Смехач ты, право слово, смехач! Чудило!

В двери в глазке показалось око часового, потом дверь открылась.

— Нумер 9-й. Михеев.

Михеев встал и пошел. Все притихли, точно с его уходом улетел последний проблеск радости.

---

[1]) Типы маршировок того времени.

Во дворе стояли две шеренги солдат. И то, что когда-то вспоминал в семеновских казармах унтер Белячков, теперь пришлось испытать его слушателю Михееву. Он — один из зачинщиков, и его, обнаженного по пояс, привязали к двум ружейным прикладам за руки. Солдаты смотрели, чтобы Михеев двигался медленно. Засвистели шпицрутены. Ожгло спину. Нестерпимая боль... Через несколько минут вся спина его — кровавое мясо, и его на руках уносят в ту же камеру.

— Вернули вам товарища!

Это не крик, это вопль... Белячков смотрит мрачно. Увели Быхольцева и не вернули: умер на месте под шпицрутенами.

Михеев выжил, чтобы итти в далекую Сибирь, в вечную каторгу.

Но семеновцы, разбросанные в разных углах России, унесли в сердцах семена старого бунта против невыносимого солдатского гнета. И в Сибири,

в рудниках, жили, веря, что когда-нибудь настанет в России лучшая пора. А кое-кто был выпущен из казарм и рассыпан по разным полкам. Эти люди хранили в глубине души старую вражду и ненависть, которая потом привела их к новому бунту за права обездоленных.

Государств. Публичная историческая библиотека РСФСР

20 коп.

Маг. 35
2 р.

С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ

МОСКВА, Новая площадь, д. № 6/8.
ЛЕНИНГРАД — Проспект 25-го Октября, 54.
ХАРЬКОВ — Троицкий пер., 2
РОСТОВ н/ДОНУ — проспект Подбельского, 15.